

Роман в письмах

Прошу Вас
прочесть это письмо
до конца.
Оно может быть интереснее,
чем Вы думаете.
Я, пишущий эти строки...
не думаю говорить
ничего обыкновенного.

Александр Блок
Из письма к Л. Д. Менделеевой

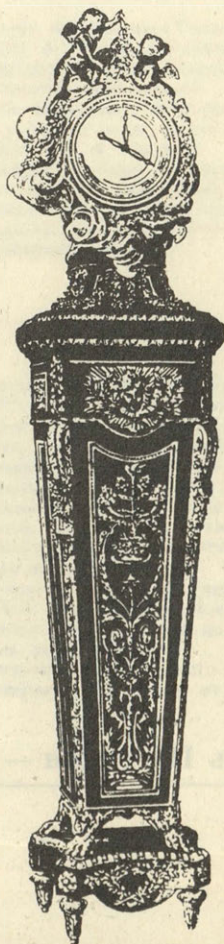
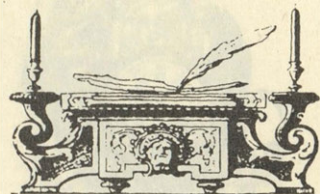


Фото А. Миловского

Императрица Екатерина II — Потемкину

июнь 1789 г.

Близкому другу следует говорить вещи, как они есть. 18 июня, по выходе из-за стола (NB Это было в понедельник), граф Мамо(нов) пришел сказать мне, что я обращалась с ним не так хорошо, как прежде, что я не отвечала на вопросы, которые он мне делал за столом; что он недоволен тем, что много людей, замечавших это, переглядывалось между собой, и что он тяготеет ролью, которую играет. Отвечать было нетрудно, я ему сказала, что если мое поведение, на его взгляд, изменилось, то это не очень удивительное дело, принимая во внимание все то, что он сделал с сентября месяца, чтобы заставить это поведение перемениться; что он мне говорил и повторял, что кроме привязанности у него не было по отношению ко мне никакого другого чувства; что он подавил все мои (чувства) и что если они уже не были прежними, он должен пенять на самого себя, так как задушил их, так сказать, обеими руками; что его вопросов я не слышала, а что касается взглядов других, то если только они существовали не в его воображении, я не могла за них отвечать. На это он мне сказал: так вы признаетесь, что не имеете уже ко мне прежних чувств. На этот вопрос тот же ответ с моей стороны, на что он мне сказал: нужно, однако, чтобы я соответственно устранился. Ответ: вы сделаете то, что найдете уместным. На это он стал просить меня дать ему совет по поводу того, что он должен был делать; на что я ответила, что подумаю об этом, и он ушел. Через четверть часа он написал мне, что он предвидит все неприятности и оскорбления и презрение, которым он подвергнется, и возобновил просьбу посоветовать ему. Я ему ответила, что, так как он не следовал моим советам до сих пор, то я тоже не стала бы рисковать давать их ему теперь; но, так как он меня об этом просит, то я ему скажу, что может представиться блестящий способ выйти из (его) положения, что гр. Брюс будет дежурным в следующее воскресенье, что я ему прикажу привести его дочь, что Анна Ники(тична) здесь и что я ручаюсь за то, что ему дадут слово и он получит самую богатую наследницу в империи, что отец, я думаю, согласится на это охотно; я думала сделать приятную вещь всем заинтересованным. На эту записку я получила в ответ письменное признание со стороны графа Мамо(нова), где он признается мне, что уже год он влюблен в княжну Щербатову, испрашивая у меня формального разрешения жениться на ней. Я как с неба упала от этой неожиданности и еще не пришла в себя, как он вошел в мою комнату, упал на колени передо мной, признался мне во всей своей интриге, своих свиданиях, переписке и сношениях с нею. Я сказала, что ему только и остается сделать то, что он хочет, что я ничему не противлюсь, что я лишь сердита за то, что он в течение года, вместо того, чтобы обманывать меня, он не открыл мне правду, и что если б он это сделал, он бы избавил меня, а также и себя от многих огорчений и неприятностей... На следующий день он попросил, чтобы я сделала предложение, что я и сделала в среду; потом он попросил о свадьбе, которая произойдет в воскресенье, 1 июля, — пост не позволяет женить их раньше. Но удивительно то, что жених и невеста только и делают, что плачут, и ни тот ни другой не выходят из своих покоев. На следующий день после свадьбы молодые уедут в Москву; этого потребовала я, так как я предвидела минуту, когда он захочет остаться, несмотря на свою женитьбу, и, если нужно правду сказать, есть очень странные противоречия в его деле, на которые я имею почти несомненные доказательства. Что касается меня, я стараюсь развлечься; я думала



вернуть его, но всегда предвидела, что это средство могло бы быть опасным. На следующей неделе я расскажу вам больше насчет известного смугляка, с которым познакомиться, может быть, зависит только от меня, но я сделаю это лишь в последней крайности. Прощайте, будьте здоровы.

* * *



... По прошествии года и великой скорби, приехал нынешний кор. Поль, которого отнюдь не заметили, но добрые люди заставили пустыми подробностями догадаться, что он на свете, что глаза были отменной красоты и что он их обращал, хотя так близорук, что далее носа не видит, чаще на одну сторону, нежели на другие. Сей был любезен и любим от 1755 до 1761 по тригоднишной отлучке, то есть от 1758, и старательства кн. Гр. Гр., которого паки добрые люди заставили приметить, переменили образ мысли: Сей бы век остался, если б сам не скупал; я это узнала в самый день его отъезда на конгресс из Села Царского и просто сделала заключение, что, о том узнав, уже доверия иметь не могу; мысль, которая жестоко меня мучила и заставила сделать из десперации выбор кое-какой, во время которого и даже до нынешнего месяца я более грустила, нежели сказать могу, и никогда более, как тогда, когда другие люди бывают довольные, и всякая приласканья мне слезы возбуждала, так что я думаю, что от рождения своего я столько не плакала, как эти полтора года; сначала я думала, что привыкну, но что далее, то хуже, ибо, с другой стороны, месяца по три дуться стали, и признаться надобно, что никогда довольнее не была, как, когда осердится и в покое оставит, а ласка его меня плакать принуждала. Потом приехал некто богатырь по заслугам своим и по всегдашней ласке прелестен был так, что, услыша о его приезде, уже говорить стали, что ему тут поселиться, а того не знали, что мы письмецом сюда призвали неприметно его, однако же с таким внутренним намерением, чтоб не вовсе слепо по приезде его поступать, но разбирать, есть ли в нем склонность, о которой мне Брюсша сказывала, что давно многие подозревали, то есть та, которую я желаю, чтоб он имел.

Ну, Госп. Богатырь, после сей исповеди могу ли я надеяться получить отпущение грехов своих, изволишь видеть, что не пятнадцатая, но третья доля из сих, первого поневоле да четвертого из десперации, я думала насчет легкомыслия поставить никак не можно, о трех прочих, если точно разберешь, Бог видит, что не от распутства, к которому никакой склонности не имею, и если б я в участь получила с молода мужа, которого бы любить могла, я бы вечно к нему не переменилась, беда та, что сердце мое не хочет быть ни на час охотно без любви; сказывают, такие пороки людские покрыть стараются, будто бы это происходит от добросердечия, но статья может, что подобная диспозиция сердца более есть порок, нежели добродетель, но напрасно я сие к тебе пишу, ибо после того взлюбишь или не захочешь в армию ехать, боясь, чтоб я тебя позабыла, но, право, не думаю, чтоб такую глупость сделала, а если хочешь навек меня к себе привязать, то покажи мне столько же дружбы, как и любви, а наипаче люби и говори правду.

Князь Потемкин — Екатерине II

(Помета: получено по почте, июня 23-го. 1790 г.)

Матушка всемилостивейшая государыня! Давно уже написав мое отправление, ожидал всякий день возвращения из посланных моих к визирю; получа первое теперь, подношу копию с письма визирского.

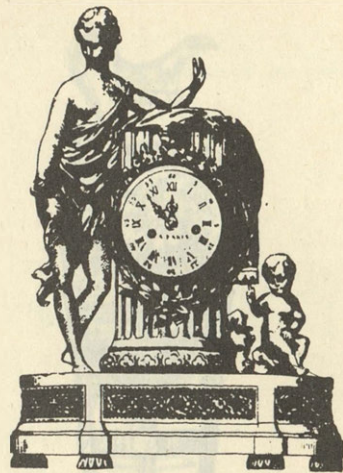
Матушка родная, при обстоятельствах, вас отягощающих, не оставляйте меня без уведомления; неужели вы не знаете меру моей привязанности, которая особая от всех; каково мне слышать со всех сторон нелепые новости и не знать, верно ли, или нет. Забота в такой неизвестности погрузила меня в несказанную слабость: лишаюсь сна и пищи, я хуже младенца. Все видят мое изнурение. Ехать в Херсон, сколько не нужно, не смогу двинуться.

Ежели моя жизнь чего-нибудь стоит, то в подобных обстоятельствах скажите только, что вы здоровы.

Положение шведского флота столь нам, по милости Божией, полезно, что остается довершить, что должно учинять, как можно скорей; ежели пойдет вдаль, могут случиться разные обстоятельства, а паче от погоды. Есть в арсенале пушки длинные, которые носят на дальнюю дистанцию; поставя на суда, какого ни на есть роду, гальоты и другие годятся, ими, не подвергаясь выстрелам, бить можно.

Как слабость пройдет, отправлю курьера с подробным описанием неприятельского положения. Пока жив, вернейший и благодарнейший подданный князь Потемкин Таврический.

Корнета моего (речь идет о Платоне Зубове.— *Примеч. ред.*) я паче и паче люблю за его вам угодность; о брате его я все приложу попечение сделать его годным в военном звании, в котором проведем чрез все наши мытарства; не упущу ничего к его добру, а баловать не буду.



Гоголь Василий Афанасьевич — невесте Марии Ивановне

Милая Машенька! Многие препятствия лишили меня счастья сей день быть у вас! Слабость моего здоровья наводит страшное воображение, и лютое отчаяние терзает мое сердце. Прощайте, наилучший в свете друг! Прошу вас быть здоровой и не беспокоиться обо мне. Уверю вас, что никого в свете и не может столь сильно любить, сколько любит вас и почитает ваш вечно вернейший друг, несчастный Василий... Прошу вас, не показывайте сего несчастного выражения страсти родителям вашим. И сам не знаю, как пишу.

А. С. Грибоедов — жене

Казбин, 24-го декабря. Сочельник, 1828 г.

Душенька. Завтра мы отправляемся в Тейран, до которого отсюда четыре дня езды. Вчера я к тебе писал с нашим одним подданным, но потом расчел, что он не доедет до тебя прежде двенадцати дней, так же к m-me Macdonald, вы вместе получите мои конверты. Бесценный друг мой, жаль мне тебя, грустно без тебя как нельзя больше. Теперь я истинно чувствую, что значит любить. Прежде расставался со многими, к которым тоже крепко был привязан, но день, два, неделя, и тоска исчезала, теперь чем далее от тебя, тем хуже. Потерпим еще несколько, ангел мой, и будем молиться Богу, чтобы нам после того никогда более не разлучаться.

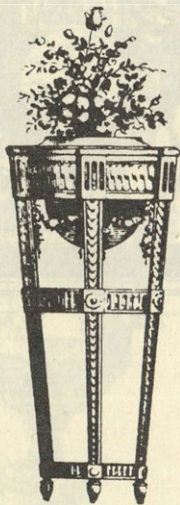
Пленные здесь меня с ума свели. Одних не выдают, другие сами не хотят возвратиться. Для них я здесь даром прожил, и совершенно даром.

Дом у нас великолепный, и холодный, каминов нет, и от мангалов у наших у всех головы переболели.

Вчера меня угощал здешний Визирь, Мирза Неби, брат его женился на дочери здешнего Шахзады, и свадебный пир продолжается четырнадцать дней, на огромном дворе несколько комнат, в которых угощение, лакомство, ужин, весь двор покрыт обширнейшим полотняным навесом, вроде палатки, и богато освещен, в середине театр, разные представления, как те, которые

Василий Афанасьевич Гоголь, отец Н. В. Гоголя, помещик, автор двух шуточных комедий, писал это письмо своей невесте Марии Ивановне в то время, как родители ее не соглашались на брак с В. А. Эта чета, отношения которой отличались сердечностью и нежностью, впоследствии послужила прототипом «Старосветских помещиков» их гениальному сыну.

Александр Сергеевич Грибоедов (1795—1829) в 1828 году женился на шестнадцатилетней дочери своего старого приятеля — Нине Чавчавадзе, прозванной им «мурьевской пастушкой»; отправившись вскоре после свадьбы к месту служения — русским послом в Тегеран, бессмертный автор «Горя от ума» был убит разъяренной персидской чернью в 1829 году. Приводимое письмо написано им за месяц до смерти. Вдова, свято чтившая память мужа, пережила его на 30 лет и умерла в 1859 году от холеры.



мы с тобою видели в Табризе, кругом гостей человек до пяти-сот, сам молодой ко мне являлся в богатом убранстве. Однако, душка, свадьба наша была веселее, хотя ты не Шахзадская дочь, и я незнатный человек. Помнишь, друг мой нецененный, как я за тебя сватался, без посредников, тут не было третьего. Помнишь, как я тебя в первый раз поцеловал, скоро и искренно мы с тобой сошлись, и навеки. Помнишь первый вечер, как маминька твоя, и бабушка, и Прасковья Николаевна сидели на крыльце, а мы с тобою в глубине окошка, как я тебя прижимал, а ты, душка, раскраснелась; я учил тебя, как надобно целоваться крепче и крепче. А как я потом воротился из лагеря, заболел, и ты у меня бывала. Душка!.. Когда я к тебе ворочусь! Знаешь, как мне за тебя страшно, все мне кажется, что опять с тобою то же случится, как за две недели перед моим отъездом. Только и надежды, что на Дереджану, она чутко спит по ночам и от тебя не будет отходить. Поцелуй ее, душка, и Филиппу и Захарию скажи, что я их по твоему письму благодарю. Если ты будешь ими довольна, то я буду уметь и их сделать довольными. Давиче я осматривал здешний город, богатые мечети, базар, караван-сарай, но все в развалинах, как вообще здешнее государство. На будущий год, вероятно, мы эти места вместе будем проезжать, и тогда все мне покажется в лучшем виде. Прощай, Ниночка, ангельчик мой. Теперь 9 часов вечера, ты, верно, спать ложишься, а у меня уже пятая ночь, как вовсе бессонница. Доктор говорит — от кофею. А я думаю совсем от другой причины. Двор, в котором свадьбу справляют, недалеко от моей спальни, поют, шумят, и мне не только не противно, а даже кстаи, по крайней мере, не чувствую себя совсем одиноким. Прощай, бесценный друг мой, еще раз, поклонись Агалобеку, Монтису и прочим. Целую тебя в губки, в грудку, ручки, ножки и всю тебя от головы до ног.

Грустно весь твой А. Гр. Завтра Рождество, поздравляю тебя, миленькая моя, душка. Я виноват (сам виноват и телом), что ты большой этот праздник проводишь так скучно, в Тифлисе ты бы веселилась. Прощай, мои все тебе кланяются.

В. А. Жуковский — М. А. Протасовой

Василий Андреевич Жуковский (1783—1852) писал эти письма, страстно влюбленный в свою ученицу и племянницу, дочь его сестры, М. А. Протасову. Мать ее, однако, не согласилась на этот брак, считая родство слишком близким, и М. А., выйдя за Мойера (1817), умерла, не успев позабыть милого ей поэта. Жуковский же всю жизнь хранил ее память, воспевая свое чувство в нежных и меланхолических стихах: «Голос с того света», «Утешение в слезах», «К Нине» и др.; только 60 лет решился он жениться в Германии на 18-летней дочери своего старого друга полковника Рейтерна.

29 марта (1815 г. Дерпт)

Милой друг, надобно сказать тебе что-нибудь в последний раз. У тебя много останется утешения; у тебя есть добрый товарищ: твоя смиренная покорность Провидению. Она у тебя не на словах, а в сердце и на деле. Что могу сказать тебе утешительнее того, что скажет тебе лучшая душа, какая только была на свете, твой Фенелон, которого ты понимать можешь. Я благодарю тебя за то, что ты его мне вчера присылала. Теперь знаю, что у тебя есть неразлучный товарищ, и такой, который всегда умеет дать твердость, надежду и ясность. Я знаю теперь, что каждый день доставит тебе прекрасную минуту. Стоит только войти в себя, поговорить с добрым, нелстивым другом, и все, что вокруг тебя, примет другой вид. Читай же эту книгу беспрестанно. В дополнение к Фенелону пришлю тебе Массильона. Теперь чтение для тебя не занятие, а жизнь и усовершенствование сердца и мыслей. Пусть это чтение напоминает тебе обо мне, о человеке, который желал быть твоим товарищем во всем добром. Я никогда не забуду, что всем тем счастьем, какое имею в жизни, обязан тебе, что ты мне давала лучшие намерения, что все лучшее во мне было соединено с привязанностью к тебе, что, наконец, тебе же я был обязан самым прекрасным движением сердца, которое решилось на пожертвование

тобою, — опыт, самый благодетельный на всю жизнь; он уверяет меня, что лучшие минуты в жизни те, в которые человек забывает себя для добра и забывает не на одну минуту. Сама можешь судить, что в этом воспоминании о тебе заключены будут все мои должности. Пропади оно — я все потеряю. Я сохраню его, как лучшую свою драгоценность. Я вверяю себя этому воспоминанию и, право, не боюсь будущего. Что может теперь в жизни сделаться ужасного для меня, собственно? Во всех обстоятельствах я буду стараться быть таким же, каков теперь. Обстоятельства — дело Провидения. Мысли и чувства в этих обстоятельствах — вот все, что мы можем. И в этом-то постараюсь быть тебя достойным. Впрочем, останемся беззаботны. Все в жизни к прекрасному средство! Я прошу от тебя только одного — не позволяй тобою жертвовать и заботиться о своем счастье. Этим ты мне обязана. Я желал бы, чтобы ты более имела свободы заниматься собственным. Выпроси у маменьки несколько часов в дни для чтения — в этом чтении прямая твоя жизнь. Но не читай ничего, что бы было только для пустого развлечения. Малое, но питательное для такого сердца, как твое. Меня утешает теперь мысль, что маменька будет должна теперь к тебе более прежнего привязаться. Против остального — терпение и твердость. Мои тетрадки сбереги. В них нечего переменять, кроме разве одного — везде *сестра*. Помни же своего брата, своего истинного друга. Но помни так, как он того требует, то есть знай, что он во все минуты жизни, если не живет, то, по крайней мере, желает жить так, как велит ему его привязанность к тебе, теперь вечная и более, нежели когда-нибудь, чистая и сильная.

Об Воейкове скажу только одно слово. Мне ему прощать нечего. Слепому человеку нужно ли прощать слепоту. Но каким же убеждением можно заставить себя верить, что он зрячий. Человек, который имеет полную власть счастливить тебя и который не только этого не делает, но еще делает противное, может ли носить название человека? Этого простить нельзя. Даже трудно удержаться от ненависти. Я не могу и не хочу притворяться. Между им и мною нет ничего общего. Я... (две строчки зачеркнуты).

...Ты мне напомнишь: все в жизни к великому средство! Дай мне способ сделать ему добро: я его сделаю. Но называть более черным и черное белым и уважать и показывать уважение к тому, что... (несколько слов зачеркнуто)... в этом нет величия; это притворство перед собою и другими.

В этом письме мне не должно бы было говорить о Воейкове. Но должно было отвечать на твое письмо. Я никак не ожидал, чтобы мое пожертвование было так принято. Нет! меня хотят лишить всякого счастья! Но ты не бойся! Жизнь моя будет тебя стоить! Выключая наперед из нее минуты унылости и сомнения, все прочее будет так, как тебе надобно. Тургенев зовет меня к себе, мы будем жить вместе. У меня есть семья друзей и твое уважение. Я богат. Остальное — Провидение. Дурного быть не может, если сам не будешь дурен. А у меня есть верная защита от всего: воспоминание и perseverance.

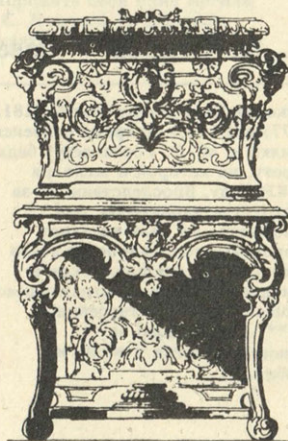
Я бы желал, чтобы ты написала мне поболее.

Это было написано вчера поутру. Маша, откликнись. Я от тебя жду всего. У меня совершенно ничего не осталось. Ради Бога, открой мне глаза. Мне кажется, что я все потерял.

Князь П. А. Вяземский — жене

21 августа 1812 г.

Я сейчас получил твое письмо с двумя образами и повесил их на шею, как ты мне велела. Я их не сниму, милый мой



Петр Андреевич Вяземский (1792—1878) участвовал в сражении при Бородине в составе дворянского ополчения; эти письма написаны им

в 1812 г. жене его, урожденной кн. Гагариной, на которой он незадолго перед тем женился.

друг, ты можешь быть в том уверена. Повторяю тебе мою просьбу писать ко мне чаще, а ты не забывай, что я из Москвы уезжаю и что, следовательно, ты, может быть, писем от меня на каждой почте и не будешь получать.

Молчание мое тебя не должно беспокоить, ибо если я занемогу, то армия так близка, что тотчас перешлют меня в Москву, как и многих уже переслали. Притом же дурные известия всегда скоро доходят. Итак, заклинаю тебя, милая моя Вера, как можно более покоряться рассудку и не предаваться всем страхам, которые будет рождать в тебе воображение и нежная твоя ко мне любовь. Молись Богу обо мне, я об тебе, и все пойдет хорошо. Посылаю тебе письмо от Прасковьи Юрьевны и советую тебе отвечать ей по первой почте, что ты получила ее письмо уже в Ярославле, и что, если я тебя туда, а не к ним отправил, так это оттого, что в этом городе можно найти более помощи в родах, чем в другом. Обнимаю тебя нежно, и в поцелуе моем передаю тебе мою душу. Катерине Андреевне и детям — мой поклон.

* * *

24 августа 1812 г. Москва

Я сейчас еду, моя милая. Ты, Бог и честь будут спутниками моими. Обязанности военного человека не заглушат во мне обязанности мужа твоего и отца ребенка нашего. Я никогда не отстану, но и не буду кидаться. Ты небом избрана для счастья моего, и захочу ли я сделать тебя навеки несчастливою? Я буду уметь соглашать долг сына отечества с долгом моим и в рассуждении тебя. Мы увидимся, я в этом уверен. Молись обо мне Богу. Он твои молитвы услышит, я во всем на Него полагаюсь. Прости, дражайшая моя Вера. Прости, милый мой друг. Все вокруг меня напоминает тебя. Я пишу к тебе из спальни, в которой столько раз прижимал я тебя в свои объятия, а теперь покидаю ее один. Нет! мы после никогда уже не расстанемся. Мы созданы друг для друга, мы должны вместе жить, вместе умереть. Прости, мой друг. Мне так же тяжело расставаться с тобою теперь, как будто бы ты была со мною. Здесь в доме, кажется, я все еще с тобою; ты здесь жила; но — нет, ты и там, и везде со мною неразлучна. Ты в душе моей, ты в жизни моей. Я без тебя не мог бы жить. Прости! Да будет с нами Бог!

Н. Н. Огарев — невесте и впоследствии жене его, М. Л. Рославлевой

Николай Платонович Огарев (1813—1877) влюбился во время пензенской ссылки в М. Л. Рославлеву, бедную сироту, на которой и женился в 1836 году. Впоследствии, из-за несходства характеров, они разошлись, но поэт-идеалист «сороковых годов» и после этого сохранил к жене дружеское и гуманное отношение, отразившееся в прощальном стихотворении (К*** «Благодарю за те мгновенья, когда я верил и любил...»).

Знаешь ли, твоя записка так тронула меня, что доставила мне больше удовольствия, нежели твоя вспышка причинила мне огорчения. Но твоя вспышка была законна, и, чтобы покончить с этим разномыслием, я хочу рассказать тебе все, что могло бы снова вызвать ее, и не будем больше говорить об этом.

Пятнадцати лет я мечтал о любви чистой и небесной, какую ощущаю сейчас; шестнадцать — пылкое воображение заставило меня полюбить; меня постигло разочарование, подорвавшее мою веру в любовь. Семнадцати лет я захотел обладать женщиною и обладал ею, без любви с обеих сторон — позорный торг между неопытным мальчиком и публичной девкой. Это был первый шаг к пороку. Человек так устроен от природы, что, раз познав женщину, он должен продолжать. Говорят, что это — физическая необходимость; я не верю этому; я убежден, что чистый человек должен избегать всякой связи, чуждой любви, хотя бы в ущерб своему физическому благосостоянию. Но я с жадностью ухватился за тот взгляд — и отдался пороку; иногда меня мучило раскаянье, но большей частью я усыплял свою совесть.

Можешь ли ты признать истинным чувством те немногие любовные ощущения, которые я испытал в то время? Нет: это были лишь усилия духа облагородить гнусность поведения. Могу ли я долго лелеять эти мнимые влюбления? Нет: меня не могла удовлетворять женщина, лишенная развитаго ума, женщина, не носящая в себе любви к прекрасному и великому, чья любовь не возвышается до истинной любви, но есть лишь инстинкт, лишь предчувствие чего-то лучшего, чем она сама. И я удалялся тотчас, когда не мог преодолеть отвращения, истерзав себе душу мнимой любовью и неуместной ревностью. Эти женщины были не по мне.

Единственная, которую я могу истинно любить, это ты, и я клянусь тебе, что эта любовь будет вечною, — клянусь и отдаю себе полный отчет в том, что это значит. Мария, неужели ты можешь думать, что у тебя была предшественница? Нет, я живу другой жизнью с тех пор, как люблю тебя; возьми меня перерожденного, и забудь прежнего меня; то был почти зверь, этот — человек. Не ты должна повергаться к моим ногам, а я к твоим — ты чиста, как ангел, твоя вспышка была вспышкой презрения, которое внушают ангелу человеческие пороки. Но прости меня, люби меня, не покидай меня; без тебя все для меня кончено. Клянусь, я никогда не обману твоего доверия ко мне. Если, прочитав это, ты простишь мне мое прошлое, приди, бросься в мои объятия, — я чист теперь, и да не будет больше речи о прошлом!

Что я должен, по-твоему, сделать с этой девицей? Прогнать ее было бы жестоко. Неужели ты не веришь твоему Коле? Ее присутствие мне самому тягостно; но она очень весела; я послал ей денег, а ей только того и надо. Я толкнул ее на позорную дорогу: имей же сострадание ко злу, которое я сделал, — я только этого и прошу.

Е. С. Норова — П. Я. Чаадаеву

(Около 1830 г.)

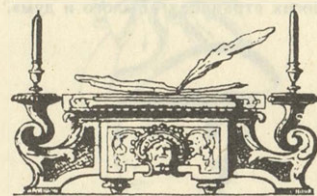
Уже поздно, я долго просидела за этим длинным письмом, а теперь, перед его отправкою, мне кажется, что его лучше было бы разорвать. Но я не хочу совсем не писать к вам сегодня, не хочу отказать себе в удовольствии поздравить вас с Рождеством нашего Спасителя Иисуса Христа и с наступающим Новым годом.

Покажется ли вам странным и необычным, что я хочу просить вашего благословения? У меня часто бывает это желание, и, кажется, решился я на это, мне было бы так отрадно принять его от вас, коленопреклоненной, со всем благоговением, какое я питаю к вам. Не удивляйтесь и не отрекайтесь от моего глубокого благоговения — вы не властны уменьшить его во мне. Благословите же меня на наступающий год, все равно, будет ли он последним в моей жизни, или за ним последует еще много других. Для себя я призываю на вас все благословения Всевышнего. Да, благословите меня — я мысленно становлюсь пред вами на колени — и просите за меня Бога, чтобы Он сделал меня такою, какую мне следует быть.

А. И. Герцен — Н. А. Захарьиной

15 января 1836 г.

Я удручен счастьем, моя слабая земная грудь едва в состоянии перенести все блаженство, весь рай, которым даришь ты меня. Мы поняли друг друга! Нам не нужно, вместо одного чувства, принимать другое. Не дружба, любовь! Я тебя люблю,



Евдокия Сергеевна Норова, болезненная, идеалистическая девушка, не думавшая о замужестве, по видимому, любила Чаадаева (вообще не имевшего романов) религиозно и до самоотречения. Это письмо написано ею незадолго до смерти (1835); Чаадаев завещал похоронить себя близ могилы Е. С. Норовой (в Донском монастыре).

Александр Иванович Герцен (1812—1870), с детства любивший свою кузину Н. А. Захарьину, вел с ней обширную и замечательную переписку в период ссылки в Пермь, Вятку и Владимир (1835—1839). Идеальная любовь их закончилась

браком — Герцен тайно увез невесту из Москвы во Владимир; в 1847-м они уехали навсегда за границу, где впоследствии семейная жизнь их была нарушена увлечением Н. А. поэтом Гервегом; незадолго до смерти Н. А. они снова встретились; светлая любовь эта описана на многих страницах «Былого и дум».

Natalie, люблю ужасно, сильно, насколько душа моя может любить. Ты выполнила мой идеал, ты забежала требованиям моей души. Нам нельзя не любить друг друга. Да, наши души обручены, да будут и жизни наши слиты вместе. Вот тебе моя рука, она твоя. Вот тебе моя клятва, ее не нарушит ни время, ни обстоятельства. Все мои желания, думал я в иные минуты грусти, несбыточны: где найду я это существо, о котором иногда болит душа? Такие существа бывают создания поэтов, а не между людей. И возле меня, вблизи, расцвело существо, говорю без увеличений, превзошедшее изящностью самую мечту, и это существо меня любит, это существо — ты, мой ангел. Ежели все мои желания так сбудутся, то где я возьму достойную молитву Богу?

Вл. Серг. Соловьев — Е. В. Романовой, впоследствии Селевиной

В письмах к родственнице и невесте своей Е. В. Романовой раскрываются его религиозно-философские взгляды, приведшие впоследствии к отказу от брака с любимой девушкой.

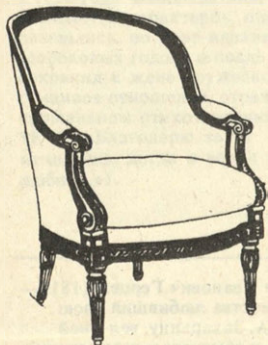
Москва, 11 июля 1873 г.

Печально, моя дорогая Катя, что даже при одинаковой взаимной любви мы не совсем понимаем друг друга. В этом, впрочем, виноват больше я сам: как бы то ни было, постараюсь говорить яснее. Я думаю, ты не можешь сомневаться в моей любви: я даже не умел хорошо скрывать ее до сих пор; теперь же ты даешь мне возможность говорить открыто: я люблю тебя, как только могу любить человеческое существо, а может быть, и сильнее, сильнее, чем должен. Для большинства людей этим кончается все дело; любовь и то, что за нею должно следовать: семейное счастье — составляет главный интерес их жизни. Но я имею совершенно другую задачу, которая с каждым днем становится для меня все яснее, определеннее и строже. Ее посильному исполнению посвящаю я свою жизнь. Поэтому личные и семейные отношения всегда будут занимать *второстепенное* место в моем существовании. Это-то только я и хотел сказать, когда написал, что не могу отдать тебе себя *всего*. Но это, как я заключаю из твоего последнего письма, не может изменить твоих чувств ко мне. С моей же стороны, хотя та задача, о которой я говорю, такого рода, что не может быть ни с кем разделена, но, конечно, участие любящей женщины должно поддерживать и укреплять силы в тех тяжелых трудах и жизненной борьбе, с которыми необходимо связано разрешение всякой серьезной задачи. Это помощь незаменимая и, конечно, только от тебя одной могу я ее принять. Но ты знаешь, моя дорогая, что не от нас и не от нашей любви зависят наши отношения. Ты знаешь, какие препятствия не допускают нашего соединения (хотя мне несколько затруднительно писать об этом так прямо, но я должен прибавить, что разумею единственно только то соединение, которое освящается законом и церковью: ни о каких других отношениях между нами не может быть и речи). Устранить эти препятствия очень трудно, но возможно. Во всяком случае, нужно употребить все средства. Пока я предлагаю следующее: мы подождем три года, в течение которых ты будешь заниматься своим внутренним воспитанием, а я буду работать над заложением первоначального основания для будущего осуществления моей главной задачи, а также постараюсь достигнуть определенного общественного положения, которое бы мог тебе предложить. Если ты согласна, то об этом еще поговорим при свидании.

Много бы хотел сказать тебе, но слова немые и пошлы. Прощай, моя дорогая, твой всегда.

Вл. Соловьев

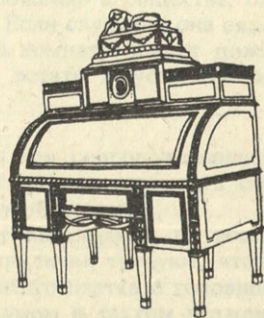
* * *



Москва, 2 августа 1873 г.

Только что отправил жалобу на твое молчание, дорогой мой друг Катя, как получил твое письмо, обрадовавшее меня бесконечно. (Ты, однако, не думай, чтоб я выказывал свою радость: при получении твоих писем я изображаю собою олицетворенное равнодушие. Вообще я становлюсь гораздо сдержаннее, даже начинаю лукавствовать, уверяю тебя: хочу быть мудр, аки змий, и незлобив, аки голубь). Что касается наших отношений, то хочешь ли ты или не хочешь, я дал и еще даю тебе слово, о котором говоришь. Способен ли я обмануть, это окажется в будущем, на деле, говорить же об этом нечего.

Постараюсь лучше ответить тебе, насколько это возможно в одном письме, на вопрос твой о моей цели и моих занятиях. С тех пор, как я стал что-нибудь смыслить, я сознал, что существующий порядок вещей (преимущественно же порядок общественный и гражданский, отношения людей между собою, определяющие всю человеческую жизнь), что этот существующий порядок далеко не таков, каким должен быть, что он основан не на разуме и праве, а напротив, по большей части на бессмысленной случайности, слепой силе, эгоизме и насильственном подчинении. Люди практические, хотя и видят неудовлетворенность этого порядка (не видеть ее нельзя), но находят возможным и удобным применяться к нему, найти в нем свое теплое местечко и жить, как живется. Другие люди, не будучи в состоянии примириться с мировым злом, но считая его, однако, необходимым и вечным, должны удовольствоваться бессильным презрением к существующей действительности, или же проклинать ее а la лорд Байрон. Это очень благородные люди, но от их благородства никому ни тепло, ни холодно. Я не принадлежу ни к тому, ни к другому разряду. Сознательное убеждение в том, что настоящее состояние человечества не таково, каким быть должно, значит для меня, что оно должно быть изменено, преобразовано. Я не признаю существующего зла вечным, я не верю в черта. Сознывая необходимость преобразования, я тем самым обязываюсь посвятить всю свою жизнь и все свои силы на то, чтобы это преобразование было действительно совершено. Но самый важный вопрос: где средства? Есть, правда, люди, которым вопрос этот кажется очень простым и задача легкой. Видя (впрочем, весьма поверхностно и узко) неудовлетворительность существующего, они думают сделать все дело, выбивая клин клином, то есть уничтожая насилие насилием же, неправду — неправдою, кровь смывая кровью; они хотят возродить человечество убийствами и поджогами. Это, может быть, очень хорошие люди, но весьма плохие музыканты. Бог простит им, не ведают бо что творят. Я понимаю дело иначе. Я знаю, что всякое преобразование должно делаться изнутри — из ума и сердца человеческого. Люди управляют своими убеждениями, следовательно, нужно действовать на убеждения, убедить людей в истине. Сама истина, то есть христианство (разумеется, не то мнимое христианство, которое мы все знаем по разным катехизисам) — истина сама по себе ясна в моем сознании, но вопрос в том, как ввести ее во всеобщее сознание, для которого она в настоящее время есть нечто совершенно чуждое и непонятное. Спрашивается прежде всего, отчего происходит это отчуждение современного ума от христианства? Обвинять во всем человеческое заблуждение или невежество — было бы очень легко, но и столь же легкомысленно. Причина глубже. Дело в том, что христианство, хотя безусловно истинное само по себе, имело до сих пор, вследствие исторических условий, лишь весьма одностороннее и недостаточное выражение. За исключением только избранных умов, для большинства христианство было лишь делом простой



полусознательной веры и неопределенного чувства, но ничего не говорило разуму, не входило в разум. Вследствие этого оно было заключено в несоответствующую ему форму и загромождено всяким бессмысленным хламом. И разум человеческий, когда вырос и вырвался на волю из средневековых монастырей, с полным правом восстал против *такого* христианства и отверг его. Но теперь, когда разрушено христианство в ложной форме, пришло время восстановить содержание христианства в новую соответствующую ему, то есть разумную, безусловно, форму. Для этого нужно воспользоваться всем, что выработано за последние века умом человеческим: нужно усвоить себе всеобщие результаты научного развития, нужно изучить всю философию. Это я делаю и еще буду делать. Теперь мне ясно, как дважды два четыре, что все великое развитие западной философии и науки, по-видимому, равнодушное и часто враждебное к христианству, в действительности только выработывало для христианства новую, достойную его форму. И когда христианство действительно будет выражено в этой новой форме, явится в своем истинном виде, тогда само собой исчезнет то, что препятствует ему до сих пор войти во всеобщее сознание, именно его мнимое противоречие с разумом. Когда оно явится, как свет и разум, то необходимо сделать всеобщим убеждением, по крайней мере, убеждением всех тех, у кого есть что-нибудь в голове и в сердце, когда же христианство станет действительным убеждением, то есть таким, по которому люди будут жить, осуществлять его в действительности, тогда очевидно *все изменится*. Представь себе, что некоторые, хоть бы небольшая часть человечества, вполне серьезно, с сознательным и сильным убеждением, будет исполнять в действительности учение безусловной любви и самопожертвования,— долго ли устоит неправда и зло в мире! Но до этого практического осуществления христианства в жизни пока еще далеко. Теперь нужно еще сильно поработать над теоретической стороной, над богословским вероучением. Это мое настоящее дело. Ты, вероятно, знаешь, что я этот год буду жить при духовной академии для занятий богословием. Вообразили, что я хочу сделаться монахом и даже думаю об архиерействе. Не-хай — я не разумею. Но ты можешь видеть, что это вовсе не подходит к моим целям. Монашество некогда имело свое высокое назначение, то теперь пришло время не бегать от мира, а идти в мир, чтобы преобразовать его.

Ты понимаешь, мой друг, что с такими убеждениями и намерениями я должен казаться совсем сумасшедшим, и мне поневоле приходится быть сдержанным. Но меня это не смущает: «безумное Божие умнее мудрости человеческой».

Прощай, моя дорогая. С надеждой на свидание всегда твой.

Вл. Соловьев.

Позабыл о портрете. Если сохранился негатив в фотографии, то пришлю тот, про который говоришь. А то сниму другой.

